

Часть первая

Я

Глава 1

Может, я больше не предатель и не перебежчик, но я был и остаюсь падалью. А кто же я, если не падаль, с двумя-то дырками в голове, откуда капаят черные чернила, которыми я это все пишу? Пре-странное это состояние — я мертв и все же пишу эти строки, сидя у себя в комнатухе, в “Райском саду”. Теперь я, выходит, прозаик-призрак, а раз так, то нет ничего проще и ничего прозаичнее, чем обмакнуть перо в чернила, текущие из двойных моих дырок — одну проделал я сам, другую Бон, мой лучший друг и кровный брат. Опустит пистолет, Бон. Убить меня дважды не получится.

Хотя, может, и получится. Я ведь был и остаюсь человеком с двумя лицами и двумя сознаниями, как знать, вдруг что-то одно и уцелело. С двумя-то сознаниями я на все гляжу с двух сторон, но если прежде я льстил себе, считая это талантом, то теперь я понял, что это — проклятие. Кто он, человек с двумя сознаниями, если не мутант? А то и монстр. Да, сознаюсь! Я не один, я двое. Не только я, но и ты. Это не только про меня, но и про нас.

Ты спросишь, как же нас теперь называть, ведь мы так долго пробыли безымянными. Сам не знаю, стоит ли говорить тебе правду, это ведь не в моих привычках. Я состою из дурных привычек, и едва меня отучат от какой-нибудь — я ни-

когда не расстаюсь с ними по собственному желанию, — как я тотчас же, распутив слезы и слюни, принимаюсь за старое.

Взять, например, вот эти слова. Я их пишу, а ведь нет привычки хуже писательства. Пока все остальные выжимают, что могут, из своей жизни, вкальвают ради зарплаты, набираются витамина D, греясь на солнышке, охотятся на себе подобных, чтобы размножиться или просто почпокаться, и отказываются думать о смерти, я сижу с пером и бумагой в своем райском уголке, чахну и бледнею, из ушей у меня валит пар отчаяния, и я обливаюсь потом печали.

Я могу сказать тебе, на какое имя у меня паспорт — ЗАНЬ ВО. Я взял это имя перед тем, как приехать сюда, в Париж, или, как нас учили его называть наши французские хозяева, Город Огней. Мы, Бон и я, прилетели в аэропорт ночью, рейсом из Джакарты. Из самолета мы выходили с чувством огромного облегчения, ведь мы добрались до убежища, до влажной мечты всех беженцев, тем более таких, которые были беженцами не единожды, не дважды, а трижды: в 1954-м, когда мне было девять, в 1975-м, когда я был молод и относительно красив, и в 1979-м, всего два года назад. Повезет ли нам на третий раз, как любят говорить американцы? Вздохнув, Бон нагнул на глаза выданную нам в самолете маску для сна. Давай просто надеяться, что Франция окажется лучше Америки.

Весьма опрометчивая надежда, если судить о стране по сотруddникам погранконтроля. Человек, изучавший мой паспорт, глядел то на мою фотографию, то на меня сквозь ничего не выражавшую маску охранника. Его бледное лицо перекошило оттого, что кто-то пустил меня, человека без верхней губы и усов, которые могли бы прикрыть ее отсутствие, в его любимую страну. Вы вьетнамец, сказал этот белый человек, — вот первое, что я услышал, впервые оказавшись на родине отца.

Да! Меня зовут Зань Во! Я одарил пограничника своим самым французским акцентом и самой льстивой улыбкой, втираясь к нему в доверие буквально на терке. Но мой отец — француз. Может быть, тогда и я тоже француз?

Его бюрократический мозг обработал это заявление, и когда он наконец-то улыбнулся, я подумал: ага! Вот мне и удалось пошутить на французском! Но он ответил: нет... вы... точно... не... француз. С таким-то... именем. Затем он шлепнул мне в паспорт дату прибытия 18/07/81 и подтолкнул паспорт ко мне обратно, уже глядя через мое плечо на следующего в очереди.

Миновав паспортный контроль, мы встретились с Боном. Наконец-то мы ступили на землю Галлии — так отец в приходской школе учил меня называть Францию. И кстати, как уместно, что аэропорт назван в честь Шарля де Голля, величайшего из великих французов, память о которых еще свежа. Герой, освободивший Францию от нацистов, не переставая при этом порабощать нас, вьетнамцев. Ох уж эти противоречия! Вечный запашок из подмышек человечества. От него никому не избавиться — ни даже американцам или вьетнамцам, которые моются ежедневно, ни французам, которые моются не очень ежедневно. Не важно, какой мы национальности, нам всем приходится привыкать к запаху собственных противоречий.

Что с тобой? — спросил Бон. Снова плачешь?

Я не плачу, всхлипнул я. Накатило просто, наконец-то я дома.

Бон уже привык к тому, что я могу расплакаться на пустом месте. Он вздохнул и взял меня за руку. В другой руке он держал свой багаж, дешевую спортивную сумку — подарок ООН. Не то что мой модный кожаный саквояж, который Клод, мой старый наставник, подарил мне в честь окончания Оксидентал-колледжа, что в Южной Калифорнии. Мой старик подарил мне точно такой же, когда я окончил Филипс-Экзетер и уехал учиться в Йель, сказал Клод, пустив слезу. Хоть он и был агентом ЦРУ и зарабатывал на жизнь допросами и убийствами, но ему случалось проявлять сентиментальность, когда речь шла о нашей дружбе или дорогих мужских аксессуарах. Все из-за той же ностальгии и я не расстался с этим кожаным саквояжем. Он был не очень большой,

меньше, чем сумка Бона, и все равно оставался полупустым. У нас, как и у большинства беженцев, почти не было вещей, даже если наши сумки и были под завязку набиты мечтами и фантазиями, травмами и болью, печалью и потерями и, разумеется, призраками. Призраки ведь ничего не весят, а значит, их с собой можно увезти бесчисленное количество.

Мы были единственными пассажирами в зоне выдачи багажа, не катившими за собой чемоданы, не толкавшими тележки, нагруженные сумками и туристическими ожиданиями. Мы не были ни туристами, ни экспатами, ни возвращенцами, ни дипломатами, ни бизнесменами, мы не принадлежали ни к одному классу приличных путешественников. Нет, мы были беженцами, и одного нашего перелета в машине времени под названием “международный лайнер” не хватило, чтобы заслонить собой тот год, что мы промаялись в исправительном лагере, или те два года, которые мы провели в лагере для беженцев на индонезийском острове Галанг. После лагерных свечей, грязи, бамбука и тростника нас сбивали с толку яркие огни, сталь, стекло и плитки аэропорта, и мы шагали медленно, наобум, врезаясь в других пассажиров в поисках выхода. Наконец мы его отыскали, перед нами разъехались двери, и мы оказались под высоченным потолком зоны международных прилетов, где нас с головы до ног оглядела толпа выжидающих лиц.

Меня окликнула какая-то женщина. Моя тетка, а точнее, женщина, которая притворялась моей теткой. Пока я был шпионом-коммунистом, внедренным в пожухлые ряды бежавшей в США южновьетнамской армии, я время от времени слал ей письма, в которых для виду жаловался на тяготы иммигрантской жизни, но на самом деле в этих письмах я невидимыми чернилами писал ей закодированные секретные сообщения о коварных происках некоторых элементов этой самой армии, надеявшихся спасти нашу родину от коммунистической власти. В качестве общего шифра мы использовали “Азиатский коммунизм и тягу к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда, и ее задачей было передавать мои

сообщения Ману, нашему с Боном кровному брату. Я приветствовал ее с облегчением и тревогой, ведь она знала, что Бон не знал и никогда не должен был узнать о том, что Ман был шпионом — как и я. Он был моим куратором, и если в исправительном лагере он в конце концов и превратился в моего мучителя, что же меня, человека с двумя сознаниями, тут не устраивало? И если моя тетка не была мне по-настоящему теткой, ну не идеальная ли это ситуация для человека с двумя лицами?

На самом деле она приходилась теткой Ману и выглядела точно так, как она и описала себя в последнем письме: высокая, худая, с черными как смоль волосами. На этом заканчивалось ее сходство с выдуманным мной образом: женщины средних лет, сутулой от вечного сидения за швейной машинкой и рабски преданной делу революции. Ближайшей родней этой женщины — если судить по форме ее тела и по тому, что она не выпускала из рук, — была сигарета. Она источала дым и самоуверенность и, стоя на агрессивно высоких каблуках, была одного со мной роста, но казалась еще выше из-за своей худобы, серого вязаного платья по фигуре и конусообразной прически — ее форменный, ежедневный образ. Я знал, что ей уже за пятьдесят, но на вид ей можно было дать и около сорока, все благодаря французскому стилю и половине азиатских генов, из-за которых время было над ней не властно.

Ну и ну! Она схватила меня за плечи и, причмокнув губами, поочередно коснулась щеками моих щек — очаровательное французское приветствие, которого мне никогда не перепадало от французов на родине, в том числе и от моего француза-отца. Вам обоим нужна новая одежда. И новые стрижки!

Да, она точно была француженкой.

Я представил ее Бону по-французски, но он отвечал на вьетнамском. У него, как и у меня, было лицейское образование, но он ненавидел французов и сюда поехал только ради меня. Да, французы когда-то дали ему стипендию, но больше он от них ничего хорошего не видел — разве что

ездил по спроектированным ими дорогам, но трудно быть благодарным за рабский труд крестьян, таких же, как сам Бон, которые эти дороги строили. Пока мы шли к стоянке такси, тетка перешла на вьетнамский, расспрашивая о наших скитаниях и страданиях на чистейшей, классической вариации нашего языка, которая в ходу у ханойских интеллектуалов. Бон молчал. В его собственном наречии смешались диалекты сельского севера, откуда были родом наши семьи, и сельского юга сайгонских окраин. Там обосновались его родители после нашего католического исхода с севера в пятьдесят четвертом, первого нашего опыта беженства. Он молчал, либо стыдясь своего выговора, либо — вероятнее всего — потому, что кипел от злости. Каждый ханоец мог оказаться коммунистом, а каждый, кто мог оказаться коммунистом, несомненно, им и был, по крайней мере по мнению такого ярого антикоммуниста, как Бон. Он не испытывал благодарности за тот единственный дар, который достался нам от наших коммунистотюремщиков, за урок о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. При таком раскладе мы с Боном теперь были сверхлюди.

Кем ты работаешь? — наконец спросил он, когда мы устроились на заднем сиденье такси, по обе стороны от моей тетки.

Тетка взглянула на меня с немим укором и сказала: вижу, племянник ничего обо мне не рассказывал. Я редактор.

Редактор? — чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя опомнился, потому что мне ведь полагалось знать, кем работает моя тетка. Когда я искал спонсора для нашего отъезда из лагеря беженцев, я написал ей — в этот раз без всяких шифров — просто потому, что не знал других неамериканцев. Она, скорее всего, сообщит о моем приезде Ману, но лучше так, чем возвращаться в Америку, где я так и не попался за совершенные мной преступления и не гордился этим.

Она назвала издательство, о котором я никогда не слышал. Я зарабатываю на жизнь книгами, сказала она. В основном художественной литературой и философией.

Бон издал горловой звук, означавший, что читать он ничего не читает, кроме армейских уставов, желтой прессы и записок, которые я вешаю на дверь холодильника. Будь моя тетка и в самом деле швеей, ему с ней было бы куда проще, и я порадовался, что ничего не стал рассказывать о ней Бону.

Я хочу услышать обо всем, что вы пережили, сказала тетка. О перевоспитании и о лагере беженцев. Я, кроме вас, других перевоспитанных не знаю.

Тетя, милая, давайте не сегодня, сказал я. Я не рассказывал ей о признании, которое меня вынудили написать в лагере, — теперь оно было спрятано под фальшивым дном моего саквояжа вместе с пожелтевшим и разваливающимся на куски экземпляром хеддовской книги. Сам не знаю, зачем я вообще прятал это признание, ведь Бон, тот, кому его точно не стоило читать, проявлял к нему ноль интереса. В процессе перевоспитания его, как и меня, под пытками заставляли писать и переписывать свое признание, но он, в отличие от меня, не знал, что комиссаром в лагере был Ман, его кровный брат. Да и откуда ему это было знать, ведь у комиссара не было лица? Зато, говорил Бон, он точно знал, что выбитое под пытками признание было сплошным враньем. Как и большинство людей, он верил, что лжи, даже повторенной много раз, никогда не стать правдой. Я, как и мой отец-священник, придерживался противоположной точки зрения.

Квартира моей тетки находилась в Одиннадцатом округе, бок о бок с Бастилией, откуда и началась французская революция. Место Бастилии в истории отмечено колонной, мимо которой мы проехали в темноте. Раз уж я был когда-то и коммунистом, и революционером, значит, и меня тоже породило это событие, обезглавившее аристократию с неумолимостью гильотины. Кончилось шоссе, начался город, и вот теперь я и вправду понял, что я во Франции, и даже лучше того — в Париже, с его узкими улочками и однообразными домами одинаковой высоты, не говоря уже об очаровательных вывес-

ках, знакомых мне по открыткам и фильмам вроде “Нежной Ирмы”, которую я смотрел в американском кинотеатре вскоре после того, как приехал учиться в Лос-Анджелес. Мне еще предстоит узнать, что в Париже очаровательно все, даже местные проститутки, и что очарователен он всегда: и по воскресеньям, и ранним утром, и после обеда, и даже в августе, когда все закрыто.

Следующую неделю или две я буду без устали повторять это слово — “очаровательный”. Ни мою родину, ни Америку очаровательными не назовешь. Слишком это сдержанное слово для такой знойной страны, как моя, для моих пламенных сограждан. Мы вызываем либо страсть, либо отвращение, но очаровывать — не очаровываем. Что до Америки, то взять хотя бы кока-колу. Вот уж действительно что-то с чем-то, этот эликсир, само воплощение наркотической, карьерной сладости капитализма, и пусть она сколько угодно искрится на языке, пользы от нее не будет. Но это все не очаровывает, не так, как свежесваренный черный кофе в чашечке-наперстке на миниатюрном блюдечке с игрушечной ложечкой, который тебе приносит официант, столь же уверенный в важности своего дела, как какой-нибудь банкир или коллекционер произведений искусства.

Американцам принадлежит Голливуд, весь этот шум, бравада, щедрые декольте и ковбойские шляпы, зато французы развернули борьбу за шарм. Это угадывалось в мелочах, как если бы вся Франция была сделана по эскизам Ива Сен-Лорана — в самом настоящем берете на голове у нашего водителя, в названии улицы, где жила тетка, — рю Сен-Ришар, в облупившейся голубой краске на металлической двери ее подъезда, в гулкой темноте коридора и перегоревших лампочках, в узкой деревянной лестнице, которая вела на четвертый этаж, в теткину квартиру.

Ничего объективно очаровательного во всем этом, кроме разве что берета, не было, вот оно, доказательство того, какое незаслуженно огромное преимущество появилось у французов, когда они пускали в ход свое обаяние —

по крайней мере, в отношении людей вроде меня, которых они, невзирая на наше упорное сопротивление, почти полностью колонизировали. Я говорю “почти”, потому что, пока я очарованно пыхтел, карабкаясь вверх по лестнице, какой-то крошечный, рептильный участок моего мозга — мой внутренний туземец-дикарь — противостоял этим чарам, понимая, что они такое на самом деле — обаяние оков. Из-за этого самого чувства у меня дыхание сперло при виде стройного багета, украсившего собой теткин обеденный стол. О, багет! Символ Франции, а значит — символ французского колониализма! Так говорил один я. Но другой я тотчас же ему возражал: ах, багет! Символ того, как мы, вьетнамцы, освоили французскую культуру! Ведь мы печем отличнейшие багеты, а бань ми, которые мы делаем из этих багетов, куда вкуснее, куда оригинальнее, чем сэндвичи, которые из них сооружают французы. Сей диалектический багет в обществе огуречного салата с рисовым укусом, кастрюльки куриного карри с картофелем и морковью, бутылки красного вина и появившегося под занавес карамельного флана в темной лужице жженого сахара и составлял трапезу, которую нам приготовила тетка. Как же я истосковался по этим блюдам, да по каким угодно блюдам! Мечты о еде не отпускали меня все эти бесконечные месяцы, что я провел в исправительном лагере, близ центра ада, а затем в его спальном районе — лагере для беженцев, где лучшее, что можно было сказать о нашей еде, так это то, что ее было мало, а худшее — что кормили нас тухлятиной.

Отец научил меня готовить вьетнамскую еду, сказала тетка, накладывая нам карри. Мой отец, как и вы, был солдатом, но кто его теперь вспомнит.

От одного упоминания об отце у меня чуть сердце не остановилось. Я приехал на родину своего отца, патриарха, который меня отверг. Изменилась бы моя жизнь, назови он меня сыном, а мою мать — пусть и не женой, но хотя бы любовницей? Я и жаждал его любви, и ненавидел себя за то, что мои чувства к нему не ограничиваются одним презрением.

Французы отправили моего отца на Первую мировую, продолжала тем временем тетка. Мы с Боном ерзали от нетерпения, дожидаясь, когда же она возьмет ложку или оторвет кусок багета, тем самым просигналив нам, что уже можно наброситься на столь призывно разложенную перед нами еду. Ему было восемнадцать лет, и его, как и десятки тысяч других солдат, перебросили в метрополию напрямик из тропического Индокитая. Париж он, правда, толком увидел уже после войны. А домой так и не вернулся. Урна с его прахом стоит у меня в спальне, на комод.

Нет ничего печальнее, чем жизнь вдали от дома, сказал бедняга Бон, и его рука, лежавшая на скатерти, задрожала. Он за всю жизнь не сказал ничего даже отдаленно философского, однако эмиграция и трагическая потеря жены и сына сделали из Бона мыслителя. Отвези его прах на родину, сказал он. Только тогда дух твоего отца обретет истинный покой.

Можно было подумать, что от таких разговоров у нас испортится аппетит, однако нам с Боном отчаянно хотелось съесть хоть что-то, кроме пайков, которые беженцам выдавала какая-то неправительственная организация, только чтобы те не померли с голоду, но не более того. А еще у французов с вьетнамцами общая любовь к меланхолии и философии, которой маниакально оптимистичные американцы никогда не разделяли. Типичный американец предпочитает консервированную версию философии, закатанную в инструкции и справочники, но вьетнамцы и французы, даже самые среднестатистические, ценят любовь к знаниям.

Поэтому мы разговаривали за едой и, что тоже немало важно, пили, курили и безоглядно думали, потакая всем трем моим дурным привычкам, которых меня лишило перевоспитание. Чтобы мы могли свободно предаваться этим привычкам, моя тетка не только откупоривала одну бутылку красного вина за другой, но и выставила на стол марокканскую чайную жестянку с двумя видами сигарет — с гашишем и без. Даже слово “гашиш” звучит очаровательно, ну или по крайней мере экзотично, по сравнению-то с “марихуаной”, народным аме-

риканским наркотиком, хоть оба их и делают из одного растения. Марихуану курят хиппи и подростки, ее символ — вечно немодная группа под названием *Grateful Dead*, которую Ив Сен-Лоран поставил бы к стенке за то, что из-за них все стали носить футболки в цветных разводах. Гашиш же — синоним Леванта и арабских базаров, чего-то иноземного и волнующего, декадентского и аристократического. Это в Азии можно попробовать марихуану, но на Востоке ты куришь гашиш.

Даже Бон, и тот затынулся крепкой сигареткой, и вот тогда-то, утолив голод, расслабив тело и разум и заметно офранцузившись в нашем сытом посткулинарном блаженстве, которое для нас, беженцев, не хуже посткоитального, Бон заметил стоявшую на каминной полке фотографию в рамочке.

Это что — он вскочил, пошатнулся, еле удержав равновесие, и прошагал по бахrome персидского коврика к камину. Это — он ткнул в фотографию пальцем, — это он.

Я сказал тетке, что у них, похоже, есть какой-то общий знакомый, а она ответила: даже не знаю какой.

Бон обернулся к нам, весь красный от ярости. Я вам сейчас скажу какой. Сатана!

Я вскочил с места. Если с нами сатана, я тоже хотел на него взглянуть! Однако при ближайшем рассмотрении... Это не сатана, сказал я, увидев раскрашенное фото человека в самом расцвете лет — седого, с бородкой клинышком и Nimbus прозрачного света над головой. Это Хо Ши Мин.

Когда-то я был таким же убежденным коммунистом, как он, и продолжал свое дело даже в Америке, где я душил заграничную контрреволюцию, чтобы поддержать революцию дома. Я старательно скрывал это от всех, и в особенности от Бона. О моих коммунистических симпатиях знали только тетка и ее племянник Ман. Он, Бон и я были кровными братьями, тремя мушкетерами, хотя в историю мы, наверное, войдем как три брата-акробата. Мы с Маном были шпионами, тайными подрывниками антикоммунистического движения, столь милого сердцу Бона, и из-за этих тайн мы вечно попадали в самые разные передраги, откуда всегда

спасались только через чей-нибудь труп. Бон до сих пор верил, что Ман погиб и что я такой же ярый антикоммунист, как и он сам, ведь он видел, как меня искалечили в исправительном лагере — так, по его мнению, коммунисты обходятся только со своими врагами. Я же не был врагом коммунизма, я был просто человеком с одной опасной для жизни страстишкой — сочувствием к настоящим врагам коммунизма, и американцам в том числе. Зато исправительный лагерь исправил мое отношение к ярым коммунистам, я понял, что они ничем не отличаются от ярых капиталистов: для них не существует полутонов. Сочувствовать врагу — все равно что сочувствовать дьяволу, это уже само по себе предательство. Бон, благочестивый католик и убежденный антикоммунист, разумеется, так и думал. Я не знал никого, кто убил бы больше коммунистов, чем он, и хотя Бон, конечно, понимал, что кого-то убил по ошибке, просто приняв за коммуниста, но все равно верил, что его простит и Господь, и Госпожа История.

Теперь же он наставил указательный палец на мою тетку и сказал: так ты, значит, коммунистка? Я непроизвольно ухватил его за руку, понимая, что, будь у него сейчас под пальцем спусковой крючок, тетка уже лежала бы мертвой. Бон оттолкнул мою руку, а тетка вскинула бровь и закурила сигарету, обычную, неугашенную.

Я не коммунистка, я так, попутчица, сказала она. Я не настолько о себе высокого мнения, чтобы зваться настоящей революционеркой. Сочувствующая, вот и все. О своей политической ориентации она говорила так бесстрастно, как умеют одни французы, люди настолько отмороженные, что им почти не нужны кондиционеры, без которых жить не могут американцы. Я же, как и мой отец, скорее троцкистка, чем сталинистка. Верю во власть народа и в мировую революцию, а не в партию, которая всем заправляет от имени целой страны. Верю в права человека и всеобщее равенство, а не в коллективизм и пролетарскую революцию.

Тогда зачем ты держишь дома портрет сатаны?

Потому что никакой он не сатана, а великий патриот. Когда он жил в Париже, то так себя и называл — Нгуен-патриот. Он верил в независимость нашей страны, как верим в нее мы с тобой, как верил мой отец. Может, лучше порадуемся тому, что у нас есть хоть что-то общее?

Она говорила спокойно и разумно. Но с таким же успехом она могла говорить с Бонем на каком-нибудь чужом языке. Ты коммунистка, решительно сказал Бон. И поглядел на меня дикими, безумными глазами уличного кота, раненого и загнанного в угол. Я не могу тут оставаться.

Я понял, что жизни тетки ничего не угрожает. Согласно строгому кодексу чести, которого придерживался Бон, платить убийством за гостеприимство было безнравственно. Но дело шло к полуночи, и идти нам было некуда.

Переночуем сегодня здесь, сказал я. А завтра пойдем к Шефу. Его адрес лежал у меня в бумажнике, я успел записать его в лагере на Галанге до того, как ответственные за развоз беженцев волшебники около года тому назад телепортировали Шефа в Париж. Услышав про Шефа, Бон успокоился, потому что был обязан ему жизнью и Шеф обещал, что, если мы когда-нибудь доберемся до Парижа, он нас не бросит.

Ладно, сказал Бон. Гашиш, вино и навалившаяся усталость притупили его инстинкт убийцы. Он снова, даже с каким-то сожалением, взглянул на мою тетку, возможно, то был единственный раз, когда он почувствовал хоть что-то похожее на сожаление. Ничего личного.

Миленький мой, политика — это всегда личное, ответила тетка. Поэтому от нее и умирают.